



Н. Н. СТРАХОВ

Некрасов и Полонский*

I

Что такое известность?

В прошлом году «Заря» оставила без отзыва новое, пятое уже издание стихотворений г. Некрасова; в нынешнем году несколько запоздала дать отзыв об издании сочинений г. Полонского, которое может назваться почти полным и дает возможность обозреть всю деятельность этого поэта.

Такая неисправность нашего журнала зависит от двойной причины. Во-первых — некуда торопиться. «Заря» не думает каждый год изменять свои мнения о существенных предметах, она отказывается от слишком быстрого прогресса, а еще больше отказывается в деле критики от поспешных заметок и суждений, вызываемых не сущностью дела, а разными посторонними надобностями и соображениями, в силу которых часто сегодня оказывается черным то, что еще вчера было белым. «Заря» желает иметь *определенные* мнения и хочет *держаться* этих мнений. Если же так, то спешить здесь нечего. Уже теперь наши читатели знают наше мнение о многих писателях современной или недавно минувшей эпохи, а через год, или много через два, мы значительно исчерпаем круг наиболее важных явлений нашей литературы.

Это одна причина. А другая заключается в самой трудности предмета, т. е. поэзии. Мы уже не раз высказывали убеждение, что русская литература, хотя о ней все толкуют взапуски, хотя каждый считает себя вправе судить и рядить о ней, есть предмет в высшей степени темный и трудный. Но всего труднее и темнее в русской литературе — ее поэзия, всего загадочнее те писатели, которые принадлежат к чистой и специальной поэтической области, т. е. лирики-стихотворцы.

* Сочинения Я. П. Полонского. СПб. Т. I и II, 1869; т. III, 1870. Стихотворения Н. Некрасова. Издание пятое. Четыре части. СПб., 1869. Мороз красный нос. Поэма Н. Некрасова. Цена 15 коп. СПб., 1870.

Каждый раз, когда мы хотели взяться за наших поэтов, чтобы разбирать их, нас останавливала чрезвычайная запутанность и странность этих явлений, и мы принимались за что-нибудь другое.

Изложим дело со всею откровенностью. Сравнительно легко писать о таких крупных и ясных явлениях, как Герцен, где можно коснуться, по мере сил, важных и разнообразных вопросов, бывших предметом общего внимания и долгих толков. Еще легче писать статьи о «женском вопросе» и о том, что человек имеет душу. Твердить общие истины, писать трактаты в опровержение диких мнений или в защиту ясных как день положений — дело, которое легче многих других, и если бы нас соблазняли лавры Добролюбова и Писарева, то мы гораздо чаще предавались бы этого рода литературным упражнениям, которые притом для многих, вероятно, весьма не бесполезны. Но нам все *совестно* касаться общих и избитых тем, и мы сами добровольно запираем себе путь к славе. Мы принимаемся за эти легкие предметы не иначе, как с большими предосторожностями, чтобы, поучая неразумных читателей, не наскучить как-нибудь разумным. Мы в этом случае держимся той мысли, которою оканчивается одно стихотворение г. Некрасова; вместе с поэтом мы часто говорим себе:

И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером...
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем¹

(Ч. I, стр. 170).

Итак, есть немало предметов, о которых писать было бы легко, так как для этих предметов есть и публика, то есть существуют известные интересы и вопросы в массе читателей, есть и ясные основания, то есть существуют очень простые и широкие точки опоры, на которых мы можем установить свои суждения. Но как писать о поэзии? Где наша публика, читающая поэтов? Где взять мерки для суждения о наших лириках?

Если мы вспомним, что в нынешнем году окончено новое, весьма полное издание сочинений Полонского, в прошлом году вышло пятое издание стихов Некрасова, в позапрошлом вновь изданы и теперь уже, кажется, раскуплены стихотворения Хомякова и Тютчева, что до сих пор пишут Майков, Алексей Толстой, Алмазов и другие, то окажется, что мы вовсе не бедны лирической поэзией и что есть же для нее читатели, требующие новых изданий своих любимых поэтов. Г. Некрасов, конечно, первенствует в этом случае, он вышел уже пятым изданием. Но, как ни старались журналы, руководимые г. Некрасовым, отбить

у читателей охоту ко всякой поэзии, кроме той, которою занимается г. Некрасов, они очевидно в этом не успели. Например, успех Тютчева, поэта очень глубокомысленного, очень высокого по строю своей лиры, ясно показывает, что у нас есть еще значительная публика для самых высоких родов поэзии. Мы были очень изумлены, прочитавши в прошлом году в «Отечественных записках» такое известие: «г. Полонский очень мало известен публике» (см. «От. зап.», 1869 г., сентябрь, стр. 47)². Как? Полонский, знаменитый Полонский *очень мало* известен! Ведь поворачивается же у людей язык на подобные выходы! Я думаю, наборщик, набравший эту страницу, и корректор, правивший ее в типографии г. Краевского, улыбнулись над развязностью этой фразы. Полонский *очень мало* известен! Подобные вещи можно писать только для гимназистов первого класса, только в явном расчете на такую публику, которая понятие не имеет о русской литературе и станет учиться ей по рецензиям «Отечественных записок», станет на этом журнале развивать свой ум и воспитывать свои сердечные чувства.

Такая публика, конечно, есть, и об ней, конечно, очень хлопочут такие журналы, как «Отечественные записки». Они никогда не прочь привлечь эту публику на свою сторону и очень желали бы уверить ее, что не стоит и обращать внимание на всю остальную литературу. Всегда есть мальчики, только что принимающиеся за чтение книг, всегда есть множество и зрелых людей, которые, как выразился Гоголь, «несколько беззаботны насчет литературы»³. Для них можно смело печатать, что Полонский есть писатель очень мало известный, а что о Тютчеве никто даже никогда не слышал.

Но есть другая публика — вот к чему мы клоним свою речь. Есть еще в немалом числе такие удивительные люди, которые любят поэзию и не считают знакомство с русскою литературою за дело лишнее и бесполезное. Такие люди все до единого знают и любят Полонского, которого, впрочем, мудрено не знать и тем, которые его не любят. Полонский пишет около тридцати лет (знаменитые стихотворения: «Солнце и Месяц», «Пришли и стали тени ночи», написаны — первое в 1841, второе в 1842 году); в течение этого времени он написал немало произведений *первостепенных*, то есть представляющих несомненное, чистое золото поэзии («Бэда-проповедник», «У Аспазии», «Статуя», «Кузнечик-музыкант», «Наяды» и пр.); в силу этого он стал одним из образцовых, *классических* наших поэтов, то есть таких, который всегда с почетом поминается при перечислении сокровищ нашей литературы и без произведений которого не обходится ни одна хрестоматия. Притом г. Полонский пишет до сих пор и пишет так, что ничто не обличает ослабление его таланта. Мы можем ждать от него таких же

великолепных произведений, какими он от времени до времени дарил нас и прежде. В доказательство укажем на «Царя Симеона», напечатанного в майской книжке «Зари».

Вот положение г. Полонского в литературе. Он такой *известный* писатель, что известнее и быть невозможно при малом количестве нашей публики, при малой нашей любви к родной литературе.

Но — *что такое* Полонский? В чем смысл его поэзии? Какие ее отличительные черты? На эти вопросы действительно не существует ответа. Мальчики в школах учат наизусть его стихи; все знают, други и недруги, что он отличный поэт; но *что такое* его поэзия — так же мало известно, как мало известно значение Пушкина, как мало ясен и понятен ход всего развития нашей литературы. И в этом отношении получает некоторый смысл выходка «Отечественных записок», решившихся провозгласить, что Полонский очень мало известен читателям. Под злостью, доходящею до такой наивности, скрывается следующая мысль: г. Полонский есть явление неясное, непонятное; никто не знает, что он такое, и таким образом публика нам поверит, если мы скажем, что он не имеет никакого значения в литературе, что он не имеет даже известности, так как ему нечем было ее возбудить и заслужить.

Умные люди, такие, например, какие пишут в «Отечественных записках», не любят никаких неясных, непонятных явлений. Для умника всякое явление этого рода — обида, так как оно ясно свидетельствует о несостоятельности его ума, о мелкости его понятий. В таких случаях умные люди прибегают нередко к очень глупому средству: для спасения чести своего ума в своих и чужих глазах они *отрицают* непонятное явление, стараются отнять у него всякое значение. Вот причина, по которой в наши дни так ожесточенно нападали на Пушкина; для умников наш великий поэт — бельмо на глазу, камень преткновения. Вот главная, существенная причина и нападений на Полонского, поэта, который, по-видимому, ничем не мог раздражить ни одной из литературных партий. Он раздражает умничающих господ самым своим существованием, самою своею известностью, и вот они утверждают, что он вовсе не известен, что его имя отнюдь не числится в числе имен русских поэтов, что настоящие наши *известные* поэты, это — г. Некрасов, г. Минаев и г. Курочкин.

Для пояснения и сравнения обратимся к г. Некрасову. Г. Некрасов действительно находится в другом положении, чем г. Полонский; о г. Некрасове ни в каком случае нельзя сказать, что он поэт *неизвестный*. Почему же? Не потому, что он выдержал пять изданий, тогда как Полонский выдержал только два; обилие читающих может быть только *внешним* успехом, только доказывать, что книга угодила *толпе*, пришлось по вкусу людям грубым и посредственным, состав-

ляющим большинство всякой публики. Г. Некрасова нельзя назвать неизвестным потому главным образом, что он будто бы поэт совершенно определенный, что он явление вполне ясное и понятное.

Г. Некрасов есть первообраз наших обличительных поэтов, — коих было и есть множество. Он всю жизнь обличал язвы нашего отечества, пороки и страдания чиновников, пустую и развратную жизнь офицеров, гнусности Невского проспекта, а главное — страдание простого народа во всех их многообразных видах, начиная от бабы, которая

Завязавши под мышки передник,
Перетянет уродливо грудь⁴
(Ч. I, стр. 27),

и до мужика, у которого

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колена стоявшие
Ноги опухли, колтун в волосах⁵
(Ч. IV, стр. 130).

В силу этого г. Некрасов сам о себе говорит таким образом:

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым Бог тебя ведет⁶
(Ч. IV, стр. 225).

В силу всего этого не только теперь, когда существует пять изданий стихов г. Некрасова, но и десять лет тому назад, когда их существовало только два, уже нельзя было сказать, что г. Некрасов поэт мало известный. Всякий не только слышал о нем, но и знал, что он такое; в то время как к Полонскому обращались с теми вечными вопросами, которые слышал Пушкин:

О чем бренчит? Чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?⁷

этих вопросов нельзя было предлагать г. Некрасову, так как направление его музыки было совершенно ясно.

II

Направление Некрасова и Полонского

Вот мы и договорились до некоторой точки зрения, с которой можно, по-видимому, судить наших поэтов, с которой довольно ясно и прямо можно было бы произвести им оценку. Стоит только задать вопрос: какого направления поэт? — и расхвалить или разбранить его, смотря по тому, согласны ли мы с этим направлением или нет. Написать можно очень много и даже очень занимательно, потому что можно было бы вложить в статью весь задор и все те мысли, какие возбуждены и выяснены долгою и упорною борьбою.

Особенно соблазнительно — написать такую *критику* на г. Некрасова. Статью можно было бы сделать преядовитую, притом такую, которая была бы и не бесполезна, и справедлива.

Можно было бы с избытком отплатить г. Некрасову за все обиды, которые в течение долгих лет были наносимы другим поэтам в журналах, стоявших и стоящих под его начальством. Можно было бы перебрать по пальцам и выставить на вид все те пошлости и фальшивые ноты, без которых не обходится почти ни одна страница его стихов. Г. Некрасов есть поэт чисто петербургский; он носит на себе все характерные черты нашей северной Пальмиры, он ее духовное детище. Это поэт Александринского театра, Невского проспекта, петербургских чиновников и петербургских журналистов. Стихи его по тону и манере очень часто сбиваются на водевильные куплеты того особого рода, который некогда процветал в нашей «александринке». Петербургская погода, картины и сцены петербургских улиц отразились в стихах г. Некрасова, как предметы сильно и постоянно волновавшие его музу. Что касается до народа, то поэт, конечно, глубоко сожалеет о нем, но сожалеет именно так, как это свойственно петербургским просвещенным чиновникам и либеральным писателям. Народ для него — страждущая масса, которую не только следует облегчить от несомых ею тяготей, но еще более следует просветить, освободить от ее диких понятий, облагородить, очистить, преобразовать. Г. Некрасов никогда не может воздержаться от этой роли просвещенного, тонко развитого петербургского чиновника и журналиста и так или иначе, но всегда выкажет свое превосходство над темным людом, которому сочувствует. Целый ряд стихотворений этого поэта посвящен изображению грубости и дикости русского народа. Как изящное чувство г. Некрасова оскорбляется *передником, завязанным под мышки*, так его гуманные и просвещенные идеи постоянно в разладе с грубым бытом, с грубыми понятиями, с грубой душою и речью простых людей. Он пишет особые стихотворения на такие будто бы глубоко *народные* темы:

Милого побои не долго болят!
(Катерина, Ч. IV, стр. 175);

или

Нам с лица не воду пить,
И с корявой можно жить, и т. д.
(Сват и жених, Ч. IV, стр. 178).

Он всегда не прочь грустно подсмеяться или тоскливо поглумиться над народом.

И вот истинная причина успеха г. Некрасова; он как раз пришелся по вкусу тому обществу, которое гордится своею образованностию, весьма жалеет мужика, но в то же время чуждается народного духа. Почитатели г. Некрасова, твердя его стихи, могут вполне сохранять свой презрительный взгляд на народ, могут по-прежнему не иметь ничего общего с народом; и самая любовь к нему у них является не как простой долг, не как благоговейное подчинение его духу, а как заслуга их гуманных понятий, как просвещенное сожаление о диких и грубых людях. Таково настроение г. Некрасова; он думал, как мы видели, что небеса его призвали бросить некоторый *луч сознания* на путь, которым Бог ведет русский народ. Все эти обличители суть вместе и просветители; они не хотят учиться у народа, а сами хотят его учить. Действительно, мы не видим, чтобы народные понятие и идеалы составляли предмет мыслей и песнопений г. Некрасова; толкуя беспрестанно о народе, он ни разу не воспел нам того, чем собственно *живет* народ, — ни единого чувства, ни единой думы, в которых бы отразилось внутреннее развитие народа, оказалась бы его великая духовная сила. Нет ни единого события во всей русской истории, которое внушило бы что-нибудь г. Некрасову, которого смысл отразился бы в его стихах хотя слабым отражением.

В нас под кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человеческой
Плодотворное зерно⁸

(Ч. I, стр. 173).

Вот настоящий взгляд г. Некрасова на Россию и русский народ; при таком взгляде мудрено быть народным поэтом и бросать лучи сознания на пути провидения, выразившиеся в нашей истории.

Итак, приговор *направленной* критики относительно г. Некрасова мог бы быть очень строг; этот поэт есть выразитель и покровитель на-

правления, которое давно ославило себя крайностями и нелепостями, которое составляет истинную *болезнь* русского общества; г. Некрасов есть один из писателей, наиболее страдающих этою болезнью.

Если теперь обратимся к г. Полонскому, то, как мы заметили, мы не найдем в нем резкого и узкого направления, как у г. Некрасова. Это отсутствие односторонних, кидающихся в глаза тенденций «Отечественные записки» считают главным недостатком г. Полонского; в направлении для них главное дело, и потому писатель без направления должен быть объявлен не только плохим, но, если можно, даже вовсе не существующим и никому не известным.

«Г. Полонский, — говорит статейка, на которую мы ссылались, — очень мало известен публике, и это, как нам кажется, совсем не потому, что он писатель только второстепенный, а потому, что он, благодаря своей скромности, *записал себя в число литературных эклектиков*. С именем каждого писателя (или почти каждого) соединяется в глазах публики представление о какой-нибудь физиономии, хорошей или плохой; с именем г. Полонского *не сопрягается ничего определенного*».

Вот главное нападение на г. Полонского. Но вовсе не трудно, однако же, убедиться, что это нападение еще более отличается тупостию, чем коварством.

Направление у г. Полонского есть. Это направление, действительно, не имеет в себе ничего резкого, узкого, бросающегося в глаза, но тем не менее оно есть направление вполне ясное и определенное. Это — знаменитое направление, которого лучшим представителем был Грановский. Это — поклонение *всему прекрасному и высокому*, служение истине, добру и красоте, любовь к просвещению и свободе, ненависть ко всякому насилию и мраку. По месту духовного развития г. Полонский принадлежит Москве и Московскому университету сороковых годов, и он до конца остается верен лучшим стремлениям тогдашней блестящей эпохи. В его стихах вы беспрестанно встретите теплое слово, обращенное к светлым идеалам, которыми тогда жила литература и которые в сущности никогда не должны в ней умирать. Любовь к человечеству, стремление к свету науки, благоговение пред искусством и пред всеми родами духовного величия — вот постоянные черты поэзии г. Полонского. Если г. Полонский не был провозвестником этих идей, то он всегда был их верным поклонником.

Совершенно справедливо, что такое направление, которое мы называем *чистым западничеством*, не имеет резкого обособления, что оно составляет некоторый анахронизм в настоящее время, когда мнения раздробились и дошли до своих крайних выводов; но тем не менее это — весьма ясное и, главное, очень хорошее направление, не только не хуже, а гораздо лучше того, которого держится г. Некрасов.

Для примера приведем одно стихотворение г. Полонского из тех, которые в первый раз напечатаны в его собрании сочинений. Мы уверены, наши читатели будут нам весьма благодарны. Поэт обращается к *России*.

БРАНЯТ

По всем землям, на всех морях
Ты слышишь гул изветов ложных
И бранный крик на всевозможных
Тебе знакомых языках.
Бранит тебя иноплеменник,
Бранит тебя родной твой сын,
Бранит свободный твой изменник
И брат твой, пленный славянин.
Бранит хохол великорусский,
Бранит малороссийский лях,
Великорусс в узде французской
И немец в русских орденах.
Бранят тебя (как будто знают!),
Бранят, когда воображают,
Что ты наукой растлена
И что измены семена
В тебе посеял враг лукавый.
Бранят за то, что ты верна,
Гордишься суетною славой
И чтишь орлы да знамена.
Бранят за то, что ты богата,
Не деньги любишь, а почет,
И потеряла всякий счет
Тобой разбросанного злата.
Бранят за то, что ты бедна,
Разорена, истомлена —
Громада слабости примерной.
Бранят за то, что ты страшна
Своею силой непомерной
И можешь манием руки
Поднять Европу на штыки.
Бранят за то, что лицемеришь,
Таишь под маской простоты
Честолюбивые мечты;
За то, что слишком веришь ты,
За то, что ничему не веришь
И ничего не признаешь.
Бранят за правду и за ложь,
Бранят за раннюю свободу,

Бранят за то, что не дают
Свободы твоему народу.
И если я, поэт твой бедный,
Свою надсаживая грудь,
Спою тебе какой-нибудь
Хвалебный стих или гимн победный,
О! — закричат — кого надуть
Он хочет? — человек он вредный,
Позор народа своего!
И ежели не лоб он медный,
То — льстец, — наплюем на него...
Но этих криков и клевет
Не струсит никакой поэт —
Гордиться будет нареканьем,
*Когда твой ум или твой дух
Ему послужит оправданьем...*

1865

(Т. II, стр. 309).

Вот стихотворение, в котором с удивительной правдивостью изображается настроение поэта. Брань, сыплющаяся на Россию, задевает его за живое; он чувствует расположение сложить своей родине какой-нибудь победный гимн, или хоть хвалебный стих, но он боится, что на него закричат, точно так же, как некогда кричали на Пушкина:

Глупцы кричат: куда, куда?
Дорога здесь!

Этих криков, однако же, не побоялся бы поэт, если бы ум или дух России представлял ясное оправдание его стихов. Но — тут-то и беда! Поэт хотя верит, что это оправдание найдется, но еще не видит его, еще ждет, еще требует, чтобы родина принесла и показала это оправдание. Это искренняя любовь, которая жалуется, что не может перейти в сознательное поклонение своему предмету.

Таково распутие, на которое постоянно приходят думы поэта. На этом распутии стояли Грановский, Герцен, Тургенев и главная масса их поколения. С этого распутия уже давно сошла русская литература; но мы должны признать это распутье местом очень чистым и сухим сравнительно с теми болотами и кочками, в которые забрались многие деятели последовавшего поколения. Бедный поэт! Оставаясь верен идеям, некогда так ярко озарившим его юность, он подвергается теперь высокомерным отзывам людей, сузивших и доведших до крайности эти самые идеи. Крайние западники с презрением смотрят

на его общие и широкие взгляды и стараются уверить невежественную и несмыслящую публику, что даже у него вовсе нет никаких взглядов. Крайние славянофилы точно так же осудили бы г. Полонского за недостаток веры и пронизательности, за то, что его сердце и поэтическое прозрение не были настолько чутки и сильны, чтобы победить колебание его ума.

III

Объективная критика

Не ясно ли, однако же, что этот суд, суд чисто направленной критики, не может быть окончательным, что он несправедлив по своей односторонности и явным образом не исчерпывает предмета?

По-видимому, мы будем ближе к цели, если прибегнем к объективной критике, то есть к такой, которая судит о произведениях писателя по отношению к его личности, измеряет их не посторонними мерками, а их происхождением из обстоятельств жизни, из эпохи и развития писателя. Мы тотчас перестанем браниться с г. Некрасовым или с г. Полонским за несходство наших взглядов, если примем во внимание среду, в которой они жили и воспитались, их личные особенности, литературные направления, в которые их толкнула судьба.

Критика направленная, в сущности, — весьма жестокая критика; ее правило такое: следует порицать писателя за каждое, за самое малейшее отступление от наших мнений. Мы только из вежливости и ради плавности речи назвали ее критикой: в сущности, это *полемика*, то есть беспощадное обличение всего того, что мы находим в писателе вредным, нелепым, смешным *с нашей точки зрения*. Это строгий суд, который не допускает никаких смягчающих вину обстоятельств и перед которым самые простые и невинные люди неожиданно оказываются развратителями нравов и гасителями просвещения.

Критика объективная гораздо милостивее. Она, напротив, все объясняет, все оправдывает. Если писатель заблуждался, она извиняет его свойством образования, которое ему было дано; дурные вкусы, дурные стремления ставятся в вину не ему лично, а той среде, в которой он жил; ложное направление объясняется частными обстоятельствами его жизни, литературной школой, в которую он попал, и пр.

В наших предыдущих заметках о гг. Полонском и Некрасове уже есть некоторые черты, относящиеся к объективной критике, но, для пояснения нашей мысли, мы сделаем еще некоторые замечания.

С объективной точки зрения можно бы немало сказать о г. Некрасове уже на основании того, что содержится в его стихах. О своем воспитании он сам говорит:

Под гнетом роковым провел я детство
И молодость — в мучительной борьбе⁹
(Ч. IV, стр. 224).

Сравнивая с этим другие места его стихотворений, в которых он говорит о своем отце, матери и пр., легко вывести, что тяжелые впечатления его молодости породили в нем скорбное настроение, так сказать, надорвали его душу. Вот причина мрачного тона его стихов, причина, почему его муза стала *музой мести и печали*.

Дальше — относительно образования легко видеть, что г. Некрасов не получил университетского образования, тогда как в г. Полонском тотчас виден студент Московского университета известной эпохи. Темы исторические, темы из Древнего мира, общие научные или эстетические взгляды никогда не встречаются у г. Некрасова и, напротив, очень обыкновенны у г. Полонского. Настоящей школой, университетом г. Некрасова был Александринский театр, откуда он заимствовал и сюжеты своих стихов, и тот водевильный склад, который сохранился у него до последних дней.

Здесь кстати будет маленькое отступление. — В нынешнем пятом издании своих стихотворений г. Некрасов решился на поступок, который весьма любопытен; именно, напечатав в этом издании все, что он сам считает достойным внимания читателей, он затем говорит: «Адресую теперь же к моим родным и гг. библиографам мою покорнейшую просьбу: *не перепечатывать ничего остального после моей смерти*» (Стих. Некрасова, ч. III, стр. 132).

Напрасны слезы и моленья! — сказали бы мы, если бы писали стихами. Может быть, родные г. Некрасова, если они его любят, послушаются его просьбы; но библиографы наверное не послушаются, и хорошо сделают. Г. Некрасов, очевидно, желает, чтобы они изменили своему священному долгу, своей прямой и неперменной обязанности. Какой историк не найдет нелепою просьбу — пропустить те или другие факты? Какой исследователь послушается не только предисловия, а хоть бы и духовного завещания, запрещающего исследовать известные предметы?

В настоящую минуту мы ничего так не желали бы, как иметь перед глазами совершенно полное издание произведений г. Некрасова; чтобы не было пропущено ни одной строки, чтобы были приведены все варианты, чтобы были помещены вещи, являвшиеся без имени или под псевдонимами, чтобы напечатаны были все письма и записочки г. Некрасова, все стихи неоконченные и никогда не бывшие в печати, даже перевернутые, но несомненно ему принадлежащие, даже сомнительные, но любопытные уже потому, что молва их приписала

г. Некрасову. Словом, мы очень бы желали иметь такое издание, которое со временем, конечно, приготовят гг. библиографы, люди иногда весьма немудрые, но весьма почтенные в том отношении, что для них нет большей ереси, большего греха, как искажение или утаивание фактов.

Такое издание нам хотелось бы иметь именно для того, о чем мы теперь говорим: для объективной критики нашего поэта, для того, чтобы ясно видеть рождение и развитие его произведений, чтобы глубже заглянуть в его душу, проследить, какие влияния на нее действовали и какие перемены в ней происходили.

Если же г. Некрасов умоляет гг. библиографов не делать такого издания, то существенная причина этой просьбы может быть только одна: он боится объективной критики, он хотел бы являться перед публикой только с лицевой стороны, он не хочет, чтобы видели изнанку его деятельности.

Постыдный и напрасный страх! Очень жаль видеть, что поэт старается уйти от критики, что нет в нем веры в достоинство собственных произведений, что суд истории для него страшен и он желал бы скрыть от него многие факты.

Мы сказали, что это страх напрасный, и г. Некрасов увидит дальше, где ему следовало бы искать прибежища и утешения в этом страхе. Теперь же мы хотели указать именно на то, что объективная критика, хотя она все объясняет, извиняет и оправдывает, очевидно пугает писателей не менее полемической критики. И в самом деле, кому может быть приятно, когда вас объясняют исторически? Уступка времени всегда есть некоторая слабость; подчинение влияниям жизни, эпохи, случайным обстоятельствам всегда указывает на нетвердость, неустойчивость души и ума, отклоняемых внешними ударами от прямого собственного пути развития. Особенно поэты, люди впечатлительные и отзывчивые, часто грешат излишнею податливостью и потому всегда должны ожидать от объективной критики неприятных напоминаний и обличений.

Обращаясь к г. Полонскому, мы могли бы тоже указать в нем многие личные, случайные черты. Много есть у него стихотворений, вызванных его литературным положением, которое мы выше определили. Несмотря на красоту иных стихов, ясно, что в этих случаях поэт тревожим был вещами, которые не стоили его волнений и которых он, очевидно, не успел *возвести в перл создания*. Можно бы заметить пристрастие г. Полонского к так называемому *свету*, к описанию баронесс и иных прелестей светского мира. Этот мир занимает много места в произведениях поэта, но едва ли он что-нибудь прибавил к истинному весу его поэзии. Можно бы заметить также, что, тогда как душа г. Некрасова была надорвана вынесенными им несчастьями, г. Полонский легко

переносил испытания и никогда не падал под их бременем. Для доказательства приведем одно стихотворение, *выпущенное* автором в новом издании и действительно слабое, но в этом отношении замечательное. Г. Полонский сам говорит в этом стихотворении:

В моей душе проклятий нет¹⁰,

и еще:

Когда судьба меня карала, —
Увы! всем общая судьба, —
Моя душа не уставала,
По силам ей была борьба.*

Такие и подобные черты имеют свою важность при изложении того образа мыслей и чувств, который выразился в поэзии г. Полонского; они необходимы для полной характеристики его музыки.

IV

Поэт и его музыка

Но не в них главное.

Многие видят в объективной критике верх критической мудрости. Но мы уже заметили, что она обыкновенно весьма неприятна поэтам, а теперь прибавим, что она не может вполне удовлетворить и читателей.

Поэты должны чувствовать себя очень неловко, когда к ним приступают с этим анатомическим ножом и рассматривают их *объективно*, как будто они жили тысячу лет назад. Да и критик, любящий вежливость и благопристойность, чувствует себя в немалом затруднении. Толковать о сердечных чувствах г. Некрасова, об уме и воспитании г. Полонского, об их жизни и связях литературных и не литературных — все это предметы щекотливые, говоря о которых чувствуешь, что ходишь около самой границы вещей, допускаемых публичным словом.

Частная жизнь должна быть неприкосновенна для печати; это правило, вообще говоря, мудреное и сложное, имеет в обыкновенных случаях очень простой и ясный смысл. В таком смысле мы готовы сказать, что и критика не должна касаться *частных мыслей и чувств* писателя. Например, поэта критик должен рассматривать *как поэта*, а отнюдь не как простого человека, которого развитие и образ мыслей требуется определить и объяснить исторически. Очевидно, было бы величайшею нелепостью, если бы стихи гг. Полонского и Некрасова

* *Кузнецик-Музыкант*. Шутка в виде поэмы. С добавлением некоторых стихотворений за последние годы. Я. П. Полонского. СПб., 1863. Стр. 49 и 50.

послужили нам только для изображения их фигуры как частных людей. Людей, подобных г. Некрасову или Полонскому, по ходу развития, по эпохе, по испытанным влияниям со стороны общества, литературы, семейства и пр., конечно, существует великое множество, и одна из задач критики и истории состоит в том, чтобы написать характеристику этой толпы. Но остановиться на этом — значит буквально втолкнуть гг. Полонского и Некрасова в толпу, из которой они вышли. На нас лежит дело более трудное и более благородное; от нас требуется понять ту силу, которая поставила их выше толпы, тот их особенный дар, который принес толпе то, чего у нее не было, — поэзию.

Объективная критика очень легко обращается в то, что известно под именем «критики камердинера». Для лакея нет великого человека; так точно иной объективный критик в самом великолепном поэте пропускает главное — его поэзию и видит в нем только обыкновенного человека — порождение известной эпохи, известных обстоятельств, литературной школы и так далее, и так далее.

Но если мы отвергнем и направленную критику и критику объективную, то мы должны будем признать, что есть у каждого творческого писателя нечто стоящее выше его направления и его личности. Что же это такое?

Так как дело касается факта старинного и неотразимо бросающегося в глаза, то припомним давнишние обозначения этого факта. Издавна говорят, что поэты получают *вдохновение*, что они обладают *творческим даром*, который действует бессознательно. Справедливость этих указаний несомненна. Есть поэт, которого нельзя упрекнуть ни в какой фальши, ни в каком напряженном и преувеличенном изображении своих чувств, и он рассказывает об этом факте так:

Пока не требует поэта
 К священной жертве Аполлон,
 В заботах суетного света
 Он малодушно погружен.
 Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон
И из детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
 Но лишь божественный глагол
 До слуха чуткого коснется,
 Душа поэта встрепенется,
 Как пробудившийся орел, и пр.¹¹

Сила неуловимая, независимая от воли, нисходящая свыше и восходящая своим достоинством обыкновенные силы людей, в кото-

рых она обнаруживается, — таково давнишнее понятие о поэтическом вдохновении.

Сделаем некоторые предварительные замечания. Ничего нет мудреного в том, что для поэтической деятельности требуется вдохновение, то есть особенное одушевление, и что эта деятельность совершается отчасти бессознательно. То же требуется и то же происходит и при всякой другой деятельности. «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии», — говорит Пушкин¹². Точно так же мы ничего не делаем вполне сознательно, кроме разве самых простых и ясных действий, при которых не бывает ни напряжения, ни волнения. Вполне оценить свои действия, вполне сообразить их смысл и причины человек может обыкновенно только спустя некоторое время после того, как совершил эти действия. Часто же он и вовсе не может этого сделать, часто понимает человека только другой человек, а не он сам.

Итак, немудрено, что поэты не ведают сами, что творят; но интересно и замечательно, что ни в какой другой человеческой деятельности эта безотчетность не простирается до такой степени, как у поэтов. Они — как пророки; в них как будто говорит чужой дух, чужая воля.

Выведем некоторые следствия, и дело будет яснее. Мы, разумеется, не думаем, что поэты суть только орудие каких-нибудь других существ, Муз и Аполлона; нет, их вдохновение и творчество есть произведение их собственной души. Но эту душу мы должны представлять себе в том странном раздвоении, которое составляет их силу и слабость, их счастье и отчаяние, и так часто обнаруживается резким образом во всей их фигуре, во всей их судьбе.

Много есть на свете людей, в которых содержатся самые чудесные задатки, самые великолепные *возможности*. Кому удалось видеть таких людей в благоприятные минуты, когда их силы только что раскрывались, только еще обещали свое развитие, или когда они вдруг развертывались во всю свою глубину и ширину, тот, конечно, останавливался в изумлении перед этим зрелищем. Какой блеск, какая красота! И что же? Никакая сила не может быть передана или приобретена, но всякая может быть подавлена, остановлена, задумана. Люди, много обещавшие, но не носившие в своей душе богатство самых прекрасных сил, обыкновенно не выполняют своих обещаний, понижаются, тускнут и делаются часто весьма пошлыми людьми, если только не погибают вовсе. Они теряют иногда даже всякое понимание того, что некогда так громко говорило в их душе, они с презрением и насмешкою отзываются о тех великолепных сокровищах, которыми когда-то владели, но смысл которых для них потом утратился. Не знает иногда человек цены самому себе, не бережет того, что в нем всего драгоценнее и меняет эти драгоценности на всякие житейские побрякушки. Да и жизнь, вообще говоря, не мать, а мачиха.

Такова обыкновенная история; в той или другой степени она совершается с каждым человеком; в каждом человеке гибнут зародыши многих сил и лишь немного вполне развивается.

Совершенно подобное явление происходит в душе поэтов, но только не в течение долгого времени, а ежеминутно, по крайней мере пока они остаются поэтами. Процесс развития сил и их погасания делается хроническим, и поэт носит в себе постоянно два мира, две душевных области, одну светлую, а другую темную. Противоречие, существующее между пламенным юношей и опошлевающим стариком, как будто является в душе поэтов не последовательно, а одновременно. Можно сказать, что иной поэт бывает в одно время и юн и стар, и умен и туп, и возвышен и пошл.

Это странное явление ничуть, однако же, не страшнее того, что человек был когда-то умен, но не сохранил своего ума и отупел. Мы с изумлением спрашиваем: куда же девался этот ум? как это возможно? Так точно поэт, только что создавший превосходное произведение, оказывается тут же обыкновенным и даже тупым человеком, и мы с изумлением спрашиваем: куда же девался божественный огонь, который мы видели?

Для многих поэтический дар составляет то же, что воспоминание о былом счастье или о блестящей роли, которую когда-то удалось играть человеку: это и радость, и музыка; это источник борьбы и всякого разлада.

Но нужно брать вещи так, как они есть. Нелеп был бы тот критик, который, находя в поэте обыкновенного человека или дюжинного мыслителя, порешил бы на этом основании, что его читать и хвалить не стоит. Принимаясь за изучение поэта, нелепо ставить на первое место его направление или личные особенности. Прежде всего и больше всего нужно иметь в виду ту *преображенную личность*, которую носит в своей душе всякий истинный поэт и которая иногда далеко не совпадает с его будничною и, так сказать, внешнею личностью. А иначе мы ничего не поймем, мы упустим самую суть дела, гоняясь за вещами второстепенными.

Направление поэта может быть для него мало характеристично. Созданное другими, вытекающее из ложных или правдивых, но во всяком случае сильных потребностей умственной жизни целого народа, направление может захватить с собой поэта точно так же, как оно захватывает тысячи других людей. Конечно, есть высшие натуры, которые не поддаются общему потоку. Пушкины или Львы Толстые — безопасны от всяких направлений и твердо идут своею дорогою, которая оказывается прямее, новее и шире всех современных им направлений. Но люди меньшей силы бывают увлекаемы общим потоком. Тогда

всего важнее следить не за потоком, а за тою борьбою с ним, которая всегда обнаруживается у самостоятельного таланта; настоящий поэт все-таки останется самим собою, выскажет свою душу. Мы были бы чрезвычайно несправедливы к г. Некрасову, если бы смотрели на него, как на некоторого Минаева больших размеров, хотя так смотрит на себя сам г. Некрасов, хотя в минаевщине он поставляет всю свою славу. В г. Некрасове есть нечто большее, чего нет в г. Минаеве и во всем направлении, которому они оба служат.

Точно так поэты способны некоторым таинственным процессом подниматься выше случайных и чисто личных своих обязанностей. В поэте два человека — он сам и его муза, то есть его преображенная личность, и между этими двумя существами часто идет тяжелая борьба. Есть натуры столь высокие и светлые, что в них муза и человек одно, — и тогда судьба человека сливается с судьбами его музыки. «Пушкина погубила стихия Алеко, жившая в нем и внезапно вышедшая из-под власти его заклинаний» (слова Ап. Григорьева)¹³. Но обыкновенно поэты живут в некотором хроническом разладе между музою и человеком. Великое чудо здесь состоит в том, что муза сохраняется и развивается иногда при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Таковы эти удивительные люди, которых мы называем поэтами. Среди влияний самых разнородных, среди упорных умственных течений, среди всякой борьбы и всякого хаоса они растут, питаемые внутреннею, независимую силою. Впечатлительные, отзывчивые, они часто откликаются на все, что им встретится в жизни, они похожи на эхо, с которым и сравнил себя величайший из наших поэтов:

Ты внимлешь грохоту громов
И гласу бури и валов,
И крику сельских петухов
 И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва. *Таков*
 *И ты поэт!*¹⁴

Поэт то грустен, то радостен, то нежен, то суров, то любит, то ненавидит людей; каждый день он, по-видимому, увлечен новыми предметами. Вот почему люди прозы, люди определенных занятий, узкого дела так часто негодуют на поэтов: «Что за флюгеры! Чего они хотят? Чему учат? Ничего не разберешь! Только попусту смущают народ!»

А между тем совершается дивное дело, которое потому и не может быть легко понято и определено, что оно дело дивное и глубокое. Вспомним Пушкина! Как долго недоумевала русская литература над его поэзией; прочтите Белинского, Гоголя — они не умели сказать ничего

больше сказанного самим Пушкиным: моя поэзия есть эхо. Между тем, благодаря Ап. Григорьеву, мы знаем теперь отчасти смысл совершившихся чудес: победа над чужими типами, пробуждение русского идеала, положение основ самобытной литературы — вот что случилось, вот что совершил человек, родившийся

Для звуков сладких и молитв.

Он сделал больше, чем он сам ожидал; в его поэзии отозвались все струны русской души, даны были все элементы, которые потом разрабатывала наша литература; сам Лев Толстой может быть причислен к продолжателям пушкинского дела.

<...>

VI

Свобода поэзии

Заклучим нашу статью общим замечанием: *Свобода искусства, чистое искусство, искусство для искусства*, — все это слова широкие, так что могут иметь или очень глупое значение, или же очень живой, очень глубокий смысл. Сохрани нас Боже от той чисто немецкой теории, по которой человек может разбиваться на части и в нем спокойно должны уживаться всякие противоречия, по которой религия сама по себе, государство само по себе, поэзия сама по себе, а жизнь сама по себе. Ничего не может быть противнее этого русскому духу.

Но вера в искусство ни к чему подобному и не ведет. Эта вера значит: искусство связано *естественно*, по самой своей сущности, со всеми высшими интересами человеческой души и *потому* должно быть свободно, не должно быть *искусственно* подчиняемо этим интересам. Отрицание всего деланного, фальшивого, напускного, неискренного, сочиненного, всякого подслуживания и прилаживания — вот что следует из веры в искусство. *Правда* — вот высший закон, и мы знаем, что для праведников не нужны правила и предписания.

Поэты! слушайте вашего внутреннего голоса и, пожалуйста, не слушайте критиков. Это для вас самый опасный и вредный народ. Они все лезут в судьи, тогда как должны бы быть только вашими толкователями. Но толковать поэзию трудно, а судить — легко удивительно. Требуя всего, что только вздумается, и будешь судьей на славу. Упрекай розу, зачем она не растит яблоков, осуждай картину за то, что ее нельзя съесть с уксусом, утверждай, что этим нарушается гармония мироздания — и все те, которые понимают, как приятно иногда бывает покушать, тебе поверят.

Так, например, г. Корш требует, чтобы г. Полонский перестал быть лириком. Г. Корш несогласен с похвалами г. Тургенева (он вообще ни с чем не согласен, но, несмотря на то, а может быть именно потому, — его газета, как говорится, несет все, что в нее положат), и вот в чем находит главный недостаток г. Полонского: «Талант г. Полонского, — говорит он, — сам по себе не очень сильный, преимущественно почерпает свое содержание в сфере *личных, лирических ощущений, лучшее время которых пережито обществом и прошло*» («СПб. вед.», 1870, № 8). Вот суд и поучение вам, г. Тургенев, и вам, г. Полонский! Что вы все пустяками занимаетесь? Время лирических ощущений прошло. Г. Корш пресерьезно думает, что теперь не время быть поэтом, а, конечно, *самое время* — издавать такую газету, как «СПб. ведомости».

Петь с чужого голоса, толковать о предметах, в которых ничего не смыслишь, не иметь за душою ни единого искреннего слова, ни одного натурального звука, но зато кричать во все горло — как только другие закричали, негодовать и благородствовать, хотя задним числом, но пылко, объявить себя даже защитником целого человечества и — размазывать, размазывать, размазывать, — подражать, подражать, подражать, — путать, путать, путать... вот деятельность, достойная нынешнего времени.

Мы думаем иначе. Действительную мысль, действительное творчество мы считаем чистым золотом литературы, единственно ценным среди той массы фальшивых и блестящих побрякушек, которыми ежедневно заваливается наш литературный рынок. Мы нимало не радуемся, что у нас издаются «СПб. ведомости», и, напротив, считаем за великое счастье, что у нас есть еще Полонские.

В заключение и в оправдание своей статьи приведем слова Ренана (иностранцам в России всегда больше веры), сказанные им по поводу 1848 и 1849 годов:

«Если бы философия, наука, искусство, литература были только приятным препровождением времени, забавою праздных, предметом роскоши, фантазиею любителей, одним словом, “из суетных дел наименее суетным”, то могли бы быть времена, когда ученый должен бы был сказать вместе с поэтом:

Honte à qui peut chanter, pendant que Rome brûle!
(Стыд тому, кто может петь, тогда как Рим горит!)¹⁵

Но если труд мысли есть самая серьезная вещь на свете, если с ним связаны судьбы человечества и усовершенние неделимого, то *этот труд, подобно делам религиозным, имеет цену во всякое время, во всякую минуту*. Посвящать науке и культуре ума только часы спокойствия и досуга значило бы оскорблять человеческий ум, значило бы предполагать, что

есть вещи более серьезные, чем изыскание истины. Но если бы так, если бы философия составляла интерес низшего разряда, то человек, отдающий жизнь на служение высшим целям, желающий иметь право сказать в последнюю свою минуту: “я исполнил свое назначение”, мог ли бы такой человек посвятить на философию даже один час, — зная, что на нем лежат более высокие обязанности?

Есть хорошие вещи, которые всегда хороши, и если для развития науки и искусства мы станем ждать спокойствие, то, может быть, мы долго прождем. Если бы так рассуждали наши отцы, они сложили бы руки и не оставили бы нам своего наследства. Да, наконец, что за дело — надежен или неверен завтрашний день? Что за дело, принадлежит нам будущее или нет? Разве истина от этого менее прекрасна и Бог менее велик? Если бы мир разрушался, то все еще следовало бы философствовать, и я уверен, что если когда-нибудь наша земля подвергнется катаклизму, то в эту страшную минуту найдутся люди, которые среди разгрома и хаоса будут питать чистую, бескорыстную мысль и, забывая о своей близкой смерти, будут созерцать явление с тем, чтобы вникнуть в его высший смысл.

Наука, искусство, философия имеют цену лишь потому, что они суть вещи религиозные, то есть что они дают человеку духовный хлеб. “Едино есть на потребу”. Нужно признать это предписание великого Учителя нравственности как принцип всякой благородной жизни, как прямое правило обязанностей человеческой природы.

Глубокий упадок современного общества происходит от того, что умственная культура не разумеется как вещь религиозная, от того, что поэзия, наука, литература рассматриваются как предметы роскоши»¹⁶ (Questions Contemp. p. 311–316).

Мы ограничились в этой статье г. Полонским и отлагаем г. Некрасова до другого времени. Если читатели нас поняли, то они видят, что, отказавшись от критики полемической и критики объективной, мы, собственно, собираемся хвалить нашего наиболее читаемого поэта. Итак, когда-нибудь мы будем хвалить г. Некрасова¹⁷. Мы должны по справедливости отличить его от г. Минаева и иных, которых иногда бывает невозможно похвалить ни с какой точки зрения.

